

ПУШКИН В КУЛЬТУРЕ СЕГОДНЯШНЕГО ИЗРАИЛЯ:

Проблемы переводов и направление исследований

С. Гурвич-Лицинер (Иерусалим)

Проникновение пушкинской поэзии в умы и сердца людей разных стран в XX в. было связано тесно с тяжкими катаклизмами, сотрясавшими Россию и планету в этот бурный век, – с войнами, революциями, массовыми переселениями народов, а значит – трагедиями, национальными и личными. Но, при всем том, они способствовали расширению масштабов изучения – и воздействия русской культуры в мире.

Если же говорить сегодня о роли Пушкина, «солнца русской поэзии», для развития израильской – и в целом – еврейской – культуры, то тема эта столь многогранна и сложна, что следует «определиться» в объеме и ракурсе рассмотрения. Начать с того, что современная светская культура Израиля вообще зарождалась еще в России, более полутора веков назад. – И уже в этом состоянии первых слабых ростков обнаруживала разнородные направления и перспективы, творческие и языковые. Вместе с ростом демократического движения в России формировались начатки еврейского национального самосознания. Деятели еврейского просветительского течения – Гаскалы, порывая с традиционной духовной замкнутостью иудаизма, мыслили будущее нации в общем потоке современной гуманистической культуры – при ожидаемой демократизации российского общественного строя, которая откроет пути для равноправного роста национальной словесности – на базе духовного, эстетического опыта русской классики.

Из этой группы интеллигенции, поставившей себе целью активную просветительскую деятельность в еврейской массовой среде (в т. н. «черте оседлости») и вышли первые переводы стихов Пушкина на иврит и идиш. Подстрочный ивритский перевод небольших фрагментов «Медного всадника» и «Бориса Годунова» был включен еще в 1847 г. в учебник *М. О. Мандельштама* «Опыт руководства к практическому упражнению евреев в русском языке». Но если не считать этого сугубо утилитарного, прикладного по назначению прозаического перевода (равно как и поэтического перевода стихотворения «Последние цветы», осуществленного *М. Плуингианом* в 1856 г., – ибо он не стал тогда достоянием печати, а был обнаружен лишь более века спустя в ленинградском архиве – в составе частного письма автора из Вильно – и опубликован в 1981 г.), то первые печатные переводы

пушкинской лирики появились: на иврите – в 1861 г. («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»); пер., подписанный «Г-н», принадлежал, как установлено израильским библиографом *Ш. Лахвером*, – виленскому поэту, публицисту *Ионе Герштейну*, был напечатан в журнале «Га-Кармель», Вильно); на идише – в 1863 г. («Телега жизни»; анонимный пер. напечатан в одесской газете «Кол Мевасер» / «Голос вестника»).

Но после этого еще несколько десятилетий появлялись и переводы, часто неловкие, приспособленные внешне – с помощью эпитафов, гебраизации имен, изменений в местном колорите – к традиционным представлениям массового читателя, почерпнутым из поучений Талмуда. Это были зачастую не переводы в собственном смысле, а морализаторские переложения – «Сказки о рыбаке и рыбке», «Русалки», «Зимнего вечера» и др. Неоднократно такие переложения, – результат весьма вольного обращения с самим объемом произведения, составом текста, – включались в хрестоматийные сборники для обучения молодежи ивриту – или в журналы для отрочества с тем же дидактическим направлением. Но так или иначе, они раздвигали горизонты мысли юных читателей. В недавней работе израильской исследовательницы *З. Копельман* убедительно показано, как уже в 1880-90-е годы из этой среды выходили талантливые молодые поэты *Мордехай Цви Мане*, *Илиягу Пумпянский*, *Яков Вольф Зиман*, затем *Давид Шимонович* и др., глубоко – и подчас диалогически – воспринимавшие поэтические открытия Пушкина, становясь внимательными его переводчиками и обнаруживая в своем оригинальном творчестве «явные отпечатки» его «влияния»¹.

А в 1899 г., к столетнему юбилею поэта, в Петербурге вышел небольшой ивритский сборник поэзии Пушкина – в переводах *Давида Фришмана*. Но его выспренный стиль, да и само состояние иврита, на много веков приостановленного в своем развитии из-за доминирующей функции «святого языка», не давали возможности в полную меру передать силу и вольную непринужденность естественных, как дыхание, пушкинских строк.

Вообще же проблемы языка иврит на рубеже XIX-XX веков приобрели совершенно исключительное значение в национальной идентификации. Наступали годы интенсивной борьбы за коренное обновление иврита – вместе с выдвижением новой идеологии. Она явилась ответом на волну массовых погромов на юге России в 1880-90-х годах и бездействие, а часто подстрекательство власти. В связи с этим терпела крушение в сознании многих деятелей еврейского Просвещения

¹ См.: *З. Копельман*. О присутствии Пушкина в ивритской литературе (сб. «От западных морей до самых враг восточных...: А. С. Пушкин за рубежом»). М., 1999, с. 122–126).

надежда на возможность существования нации и национальной культуры, свободного развития идиша и иврита в царской империи.

Духовный кризис преодолевался, в значительной мере, в кругу сионистских идей об единственном спасении живых сил народа – путем построения собственного государства на земле предков². Возникает практическое движение за переселение в Палестину и превращение этой почти заброшенной земли пустынь и болот – в цветущий сад. Студенческая еврейская молодежь отправляется строить свой «национальный очаг», оснащенная зачастую не профессиональными знаниями и навыками, а лишь главным духовным оружием – трудами Герцеля, Ахат-ха-Ама и, наряду с этим, – томиками Пушкина и Лермонтова, наставлениями Толстого о чистоте и святости работы на земле, прозой Чехова.

Консолидация нации из осколков 2000-летнего рассеяния, судьба национальной культуры связана теперь с Палестиной, и иврит становится теперь ее знаменем, орудием скрепления воедино возрождающегося народа. Молодой преподаватель и ученый-лингвист *Элиезер Бен-Иегуда* (родом из Литвы, получил светское образование в русской гимназии г. Двинска, затем учился в Париже; в 1881 г. уехал в Палестину) захвачен идеей возвращения иврита из «священных куш» тысячелетней молитвы и возвышенных поэтических вдохновений – на землю, к всеобъемлющей роли языка всестороннего жизненного общения людей. Основываясь на речевых богатствах Танаха, он определяет основные грамматические законы иврита и стремится извлечь из *Книги книг* многообразные лексические, словообразовательные возможности для выражения новых понятий, отражения в слове невероятно усложнившейся действительности. А главное – внедряет свои инновации в практику иерусалимской школы, в текущую газетную публицистику.

И этот уникальный эксперимент обновления языка удался! Удался, в конечном счете, – благодаря включению в него живых творцов и созидателей слова – поколений поэтов, писателей-энтузиастов, – во главе с *Х.-Н. Бяликом*, *Ш. Черниховским*, *У.-Н. Гнесиным*, *Й.-Х. Бреннером*, *А. Шлионским* и др. Благодаря их многолетним целеустре-

² В мои задачи не входит исследование в целом духовного кризиса и путей выхода из него русско-еврейской мысли в те годы, в частности, – ее расхождение, усиление в начале XX в. также ее марксистских течений – от Бунда до большевиков, ищущих решение национальных проблем в классовой борьбе, расширяющих эти перспективы на языковую почву в виде опоры на идиш и идеи искоренения иврита. Историческим итогом этих усилий в сталинской России явилось, как известно, подавление любых ростков еврейской культуры. Я только бегло касаюсь перелома в развитии иврита – как языковой базы дальнейшего ипобития поэзии Пушкина в Израиле. Поэтому же далее не прослеживается идишская пушкиниана в России.

мленным исканиям, непрерывным усилиям по обогащению лексики, почерпнутой из Торы, – новыми нюансами смысла и формами, значениями – в сочетании с международными словарными вкраплениями. В этом процессе доля талантливых переводчиков поэзии Пушкина неопенима. В стремлении передать силу поэтической мысли оригинала, тонкость сердечных движений, гибкость раскованной беседы с читателем, – «жизни мышью беготню», они достигли впечатляющих успехов, неуклонно расширяя своими находками семантические и лексические ареалы древнего – и молодого языка.

Уже опубликованная к весне 1850 г. Ш. Ляховером библиография переводов на иврит – только лирики Пушкина – насчитывала 89 названий, причем некоторые стихи переводились многократно, (а другие, – как упомянутый пер. «Последних цветов» – оставались тогда неизвестными). Нет нужды добавлять, что на иврит переведен уже, в сущности, весь корпус художественных произведений Пушкина.

Это, разумеется, не исключает сложных проблем и трудностей, встающих всегда на пути переводчиков, в особенности, – на язык далекой лингвистической группы, – и тем более – произведений стихотворных. О специфических проблемах метрики, связанных с нормативным ударением в ашкеназском иврите, приводившим часто к «нарушению тесноты стихового ряда», – тем самым, к потерям в выразительности, лаконизме и силе перевода – подробно говорится в названной статье З. Копельман.

Я же остановлюсь здесь только на некоторых семантических трудностях, связанных с переводом «Евгения Онегина». В 1937 г. вышло сразу два перевода – *Авраама Левинсона* в Иерусалиме и *Авраама Шлионского* в Тель-Авиве. Последний, один из виднейших ивритских поэтов, и в дальнейшем, наряду с оригинальным творчеством и работой над многими другими переводами русской классики, еще на протяжении 30 лет продолжал совершенствовать свой перевод «Онегина»³. И его окончательная редакция 1966 г. остается до сей поры не превзойденной, хотя, как известно, переводы стареют очень быстро, – и тем более – на вновь юном, бурно развивающемся иврите. «Язык Шлионского, – пишет новейший исследователь, – сверкал и переливался искромётными находками, неожиданным сопряжением старых

³ См. о переводах поэта также: *А. Белов*. А. Шлионский – переводчик «Евгения Онегина» (сб. «Мастерство перевода, 1964»). М., 1965, с. 304–326); *Г. Копиар*. Авраам Шлионский – переводчик русской литературы на иврит (сб. «Евреи в культуре Русского Зарубежья», т. 4. Иерусалим, 1996, с. 349–366); *З. Копельман*. Авраам Шлионский – переводчик русской литературы (там же, с. 366–371; статья включает, в частности, перечень осуществленных им переводов из Пушкина).

фразеологизмов и неологизмов, покорял читателя удивительной мелодической верностью русскому оригиналу»⁴.

Специфические проблемы, стоявшие здесь перед переводчиком, были, в частности, связаны с самой древностью лексического фонда, воспринятого нынешним ивритом (этому фонду 5 тысячелетий). Контексты Танаха, Мишны, Талмуда отягощают иногда слово или словосочетание привычными ореолами сакральных значений, тень которых ложится на современный – сугубо светский, по-пушкински легкий, летящий текст. – Он утяжеляется, мимолетные впечатления и чувства грозят интенсифицироваться, непринужденная интонация оригинала – нарушиться. Стремясь избежать этого, Шлионский шел подчас на сокращение некоторых полуиронических пассажей. К примеру, строки: «И предрассудки вековые, // И гроба тайны роковые» – передаются в переводе так: «Тайны небытия и Вселенной».

Использование в переводе любовного послания Татьяны к Онегину – библейского оборота: «Что я могу попросить и на что уповать?», обращенного в первоисточнике к Богу (Псалтырь, Книга Самуила), – может приводить в восприятии читателя к незапланированным ироническим обертонам. А применение сакральных (по привычному танахическому контексту) фразеологических сочетаний для передачи салонной интриги – вообще создать пародийный эффект...

Но Шлионский с удивительной изобретательностью и смелостью преодолевал почти всегда подобные трудности. – И тем самым добивался *секуляризации* традиционных языковых формул, создавал новые стилистические регистры в иврите, делая его более гибким и подвижным. Заметим, кстати, что бесстрашное сталкивание разных лексических рядов для освоения современных смыслов шло в русле самой пушкинской традиции расковыривания слова, синтеза разных семантических слоев речи во имя прямой передачи нужного значения.

Перевод Шлионского вошел в классический фонд израильской культуры. К. И. Чуковский писал Р. П. Марголиной в Иерусалим 7 мая 1967 г.: «Недавно мы упивались чтением «Евгения Онегина» в переводе Авраама Шлёнского. Музыка, шампанское, радость!» Пояснив, что слышал он эти ивритские стихи из уст посетившего его «молодого российского гебраиста», Чуковский продолжал: когда он «прочитал мне вслух и куски «Бориса Годунова», и всю первую песнь «Онегина», и куски «Пира во время чумы», я почувствовал всё величие подвига, совершенного Авраамом Шлёнским и думал: как изумился и обрадовался бы Пушкин, если бы ему сказали, что его стихи будут звучать в Вифлееме». «Мне стыдно, что я до сих пор не написал

4 З. Копельман. О присутствии Пушкина..., с. 129.

о своем восторге самому Шлэнскому <...> Прошу Вас, передайте ему мой поклон и глубокую благодарность»⁵.

Что эта работа выдающегося поэта-переводчика еще и теперь остается живым образцом израильской поэзии, свидетельствует такой факт сегодняшнего дня. В преддверии нынешнего Пушкинского юбилея, в мае 1999 г., в Иерусалиме вышло из печати новое научное – двуязычное – издание «романа в стихах», где с текстом каждой строфы оригинала соседствует на развороте страниц ивритский классический перевод А. Шлионского (по его последнему ивритскому изданию 1992 г.). В ивритском тексте – известные иллюстрации Н. Кузьмина, и рядом – в русском – рисунки Пушкина. Книга пользуется большим читательским успехом. Выход этого издания стал одним из важнейших общекультурных событий в Израиле, приуроченных к 200-летию поэта.

* * *

О другом, *опосредованном* – и еще менее обозримом по своей широте – значении пушкинского «солнца» для израильской культуры писал очень выразительно один из классиков ивритской поэзии *Шауль Черниховский* в юбилейные дни 1937 г.: «Пушкин служил, если воспользоваться его же словами, «окном, прорубленным в Европу», был руслом, по которому струились все многочисленные ручьи, наполняющие мощный поток русской литературы, а также и нашу литературу»⁶.

Эта глубокая мысль об особой роли Пушкина, своими творениями включившего в российский духовный контекст высшие искания и коллизии европейской истории, перекликается с сегодняшними суждениями одного из значительнейших российских пушкиноведов С. Г. Бочарова о «наследовании» Пушкиным «ключевых конфликтов этой <т. е. западной> культуры – с переводом европейского содержания на родную почву»⁷.

Но еврейскому поэту важно притом не отрывать от этой общей почвы «и нашу литературу», также – во многом через Пушкина – получившую в «наследство» груз гуманистических проблем и духовных конфликтов общеевропейского дома. А далее Черниховский знамена-

⁵ См.: «Переписка Рахили Павловны Марголиной с Корнеем Ивановичем Чуковским (опубликована П. Гольдштейном в журнале «Менора», Иерусалим, 1977, № 12, – с. 70). Фамилию «Шлионский» корреспондент транслитерировал через «ё», в отличие от самого поэта.

⁶ *Sh. Chernikhovski. Pushkin be-mekhizatenu* (Пушкин среди нас; *иврит*) // Приложение к газете «*DaVar*» («Слово») от 14 февраля 1937 г.

⁷ С. Г. Бочаров. «Заклинатель и властелин многообразных стихий» («Новый мир», 1999, № : 6, с. 182).

тельно развивает свою философски насыщенную, динамическую метафору пушкинского контакта культур, развертывая весьма широкую историческую перспективу: «Когда мы говорим о его влиянии, следует иметь в виду, прежде всего, не *непосредственное влияние*, а то, что пришло *опосредованно*, как влияние его преемников и продолжателей, как влияние русской литературы вообще»⁸⁹.

* * *

Здесь естествен переход к исследовательской пушкиниане Израиля: перед ней-то, в первую очередь, и стоит задача – конкретно прояснить круг отражений и творческий объем преломлений, глубину и внутренний механизм контактов, прямых и опосредованных, русского гения с литературным потоком российским и мировым (в том числе, разумеется, с ивритским) – в «большом времени» поступательного движения жизни народов.

Как видим, статьи о поэзии Пушкина, подчас весьма значимые, появлялись в ивритской печати еще времен Палестины, затем только что созданного Израиля (особенно обильны такие публикации по случаю юбилейных дат 1937, 1949 гг.). Выделяются своим научным уровнем, тонкостью анализа – работы крупного ученого-русиста и писательницы, поэтессы *Леи Гольдберг* 1960-х годов. А уже во второй половине 1980-х, в результате нескольких волн массовой репатриации из России, в Иерусалимском университете формируется единый и жизнеспособный коллектив филологов-русистов, который постепенно, благодаря давно весомым в мире именам и трудам И. З. Сермана, В. Д. Левина, а также талантливым исследованиям ученых следующего поколения – Д. Сегала, С. Шварцбанда, М. Ланглебен, Р. Тименчика и др., – обретает статус одного из Международных центров современной славистики и пушкинистики.

О «пушкиноцентризме» творческих начинаний этого растущего сообщества исследователей мне уже приходилось писать, как и об особенностях разрабатываемой по его инициативе пушкинской проблематики, о «свободном дыхании» научной мысли в работах ученых из разных стран, тяготеющих к этому центру¹⁰. Мною анализировались также основные этапы исследовательской «вахты» израильских филологов на пути к нынешнему Большому юбилею. Это доклады на конгрессах, симпозиумах (к примеру, В. Паперного – в Польше и США,

⁸ Sh. Chernikhovski. Ibidem.

⁹ L. Goldberg. Ha-sifrut ha-rusit ba-mea ha-tsha esre (Русская литература XIX в.; *урзум*). Тель-Авив, 1968, с. 11-66. В 1973 г. книга переведена на английский язык.

¹⁰ См.: С. Гурвич-Лицнер. «Под солнцем места много всем...»: Пушкинистика в Израиле сегодня (сб. «От западных морей до самых врат восточных...»: А. С. Пушкин за рубежом». М., 1999, с. 137-152).

М. Ланглебен – в Англии и Эстонии, С. Шварцбанда – в Париже и Риме). Это статьи, включенные в «Пушкинский сборник. Выпуск I» (Иерусалим, 1997) и в продолживший его «Пушкинский Юбилейный» (вышел в январе 1999 г.), а также другие масштабные акции Израильского Центра славистики¹¹.

Так, с начала Юбилейного года был организован в Еврейском университете Иерусалима Всеизраильский научный семинар, работавший регулярно до июня (под руководством проф. Д. Сегала, И. Сермана, д-ра С. Шварцбанда, ученого секретаря д-ра Н. Рудник). На семи его «Пушкинских чтениях» было прочитано и обсуждено 14 научных докладов исследователей из разных городов страны. «Чтения» привлекли множество аспирантов, преподавателей, студентов и просто любителей словесности.

А кульминацией юбилейного «мозгового штурма» явилась Международная научная конференция (10-13 мая 1999 г.), уже в самом названии которой – «Коран и Библия в творчестве А. С. Пушкина» – сконцентрировалось своеобразие ракурсов, доминантных для этого коллектива пушкинистов. И 20 докладов, представленных здесь учеными Израиля, России, Венгрии, Германии, Франции, Эстонии, выявили не просто высокую заинтересованность исследователей мира в названном тематическом круге изучений, но и реальную плодотворность их обобщения для нынешней ступени развития мировой литературной науки. Материалы семинара и конференции составили основу III и IV «Пушкинских сборников», в ближайшее время выходящих в Иерусалиме. Они, надеюсь, отразят новый шаг в разработке ключевых направлений современного пушкиноведения.

Основные проблемные узлы штудий, упорно разрабатываемые израильской ветвью этой филологической дисциплины и уже достаточно выпукло проявившиеся в последнем десятилетии XX века, – связаны с усиленным вниманием к русским и мировым культурным, творческим контактам пушкинского поэтического мира – и их общим корням – *библейским* истокам человеческого духа. Вот этот доминирующий угол зрения – открывает специфические возможности для углубления интерпретаций и соотнесений.

В самом деле: что касается все более тщательного выяснения пушкинских духовных ориентиров, эстетических традиций, прямых отголосков его образной системы в последующем движении русской поэзии, то сама эта линия иерусалимских изысканий (например, в работе д-ра В. Хазана – «о некоторых пушкинских подтекстах» — в стихах Блока, Коневского, Мандельштама, Пастернака; в докладе Ю.

¹¹ Она же. Ускорение в пути: Иерусалимский центр пушкинистики на рубеже веков. Статья II («Russica Romana», VII, находится в производстве; выйдет в 2000 г.).

Завьялова-Левинга – «о семантике статуи в поэзии Пушкина и Бродского», а также в других, послуживших предметом жарких дискуссий во время «Чтений» и ранее – в двух «Сборниках») – идет в ногу с общими тенденциями мировой пушкинистики (ср. хотя бы недавно опубликованные материалы III и IV Пушкинологических Коллоквиумов в Будапештском ун-те¹²).

Эта проблематика, – добавлю, – имеет широкую перспективу дальнейшей многообъемлющей разработки – по мере привлечения, в частности, материалов из пока еще недостаточно освоенных архивов поэтов XX века. Так, к примеру, из недавней эпистолярной публикации выясняется, насколько глубоко и принципиально осознавал Пастернак свою органическую связь с пушкинской традицией русской культуры. Главный нерв и смысл этой традиции он видел в обостренном чувстве *одухотворенности* природы, истории, человека. 22 апреля 1959 г. он так писал Б. К. Зайцеву в Париж о Пушкине: «Его эстетику составляли: 1) время (его время, его прижизненная современность), 2) быстрота восприятия и передачи, 3) присутствие всепроникающего, всё загроутовывающего верования, постоянство одухотворения». И добавляет, что – в связи с этим, в ответ на выступления советских критиков против его стихов, на обвинения в идеализме, мистике, – должен был бы признаться: «Я готовлю на этом масле. Искусство иного состава, по-моему, тяжело и несъедобно»¹³.

Да и конкретизация творческих связей самого Пушкина с мировой поэтической культурой, неуклонно продолжающаяся в иерусалимских студиях и публикациях (например, в статьях С. Векслер, С. Гардзонно, Ф. Федорова из «Пушкинского юбилейного» сб.) – также вливается в русло приоритетных задач, которые ставит себе сегодняшняя пушкинистика в целом¹⁴.

Однако последовательное выделение в фокус изучаемых духовных, творческих связей Пушкина в большом времени и пространстве – их *библейских основ*, составляя своеобразие научной стратегии Иерусалимского пушкинского центра, не только сообщает «лица не-

12 «Studia Russica Budapestinensia», II-III. Budapest, 1995, изд. Институтом филологии Восточной Европы и Балтин Будапештского университета. Здесь большинство сообщений посвящено также связям с пушкинскими «контекстами», «подтекстами», «затекстами» в стихах Пастернака, Бродского, Цветаевой, в прозе Платонова.

13 «Наше наследие», 1990, № 1, с. 46.

14 Этот круг тем присутствует, в частности, в той же будапештской публикации, как и в юбилейных статьях виднейших российских филологов С. Бочарова и С. Аверинцева («Новый мир», 1999, № 6). Он определяет и формулу проблематики нашей Международной конференции октября 1999 г. в Университете им. Т. Масарика в Брно: «Пушкин в европийском культурном контексте».

общее выражение» большинству трудов, создаваемых или публикуемых под его эгидой, но приводит к важным новым обобщениям в них.

Теперь библейские мотивы стали напрямую средоточием всей Пушкинской конференции мая 1999 г. Притом в докладе председателя ее Оргкомитета д-ра *С. Шварцбанда*, посвященном «Подражаниям Корану», особо подчеркнут *конкретно-исторический ракурс* их разработки (также заложенный подспудно в заглавной формуле научного форума). Ученый показал, что творческое освоение Пушкиным Корана в 1823-24 гг. как «сильного и поэтического» воплощения восточных «пластов духовной жизни» предшествовало его прямому обращению к библейской мудрой простоте, явилось подступом к ней. «Вольно» перелагая фрагменты Корана, поэт с помощью «коранической лексики» нащупывал стилистические пути для передачи в «живом говорении», в непринужденном русском устно-письменном слове – истонных «нравственных истин» и общей картины мира.

(Позволю себе здесь некоторое отступление, вызванное мыслями, возникавшими по ходу докладов. Неповторимо «смелая поэзия» библейского «прямого слова» приводила в восторг и такого чуткого к ней современника Пушкина, как Гейне. В 1830 г. он писал в дневнике о «непосредственности стиля» «великой книги», где слово выступает, «словно продукт природы, как дерево, как цветок, как море, как звезда, как сам человек <...> в страшной наготе». В нем заключена «плоть самой правды, без одеяния искусства»¹⁵. А спустя несколько лет, в Вятской, Владимирской ссылке, и затем, в начале 1840-х, формируя свой «реалистический» стиль, столь же остро будет ощущать безыскусную «простоту, поэтичность» языка Библии, Евангелия молодой Герцен. И впоследствии – будет часто обращаться к «элементарным и простым формам» этого языка, а с тем вместе – к «тем пластическим библейским образцам, которые создает один Восток»¹⁶.

А что особенно примечательно, уникальность языка Библии, влекшая к себе «языкотворцев» XIX в., продолжает и теперь оставаться актуальной и загадочной вершиной для требовательного к себе переводчика, да и вообще читателя библейской поэзии. Вот как осознает их наш современник, поэт и эрудированный филолог С. С. Аверинцев: «Когда мы переходим от русских и церковно-славянских

¹⁵ *H. Heine. Werke in fünf Bänden. Bd. 5, Berlin – Weimar, 1978, S. 213-214.*

¹⁶ *А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. XXII. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 13; т. VII, 185; т. VIII, 346; т. XVI, 157 (возможно, что в «Колоколе» была опечатка в цитируемом тексте и что в несохранившейся рукописи было: «образам»; далее ссылки на указанное акад. изд. даются сокращенно: Герцен). О роли языка Библии в формировании зрелого стиля Герцена см. подробнее в работе: *S. Gurvich-Lishchiner. Герцен и Иерусалим (сб. «Oh, Jerusalem!») из серии трудов "Jews and Slavs", vol. 8. Pisa – Jerusalem, 1999, с.85-87).**

текстов Библии <...> от тех греческих оборотов Септуагинты, к которым восходят предлагаемые ими решения, и от привычных из западной словесности латинских библиизмов к древнееврейскому оригиналу, нас потрясает прямота выражения: такая прямота, при которой каждый раз выбирается поистине кратчайший путь от реальности к слову и от слова к сердцу. В сравнении с этой прямоотой любое самое прекрасное переложение покажется искусственным и декоративным»¹⁷.)

Но вернемся к майскому дискурсу о Библии и Коране у Пушкина и в его эпоху. Из конкретно-аналитических докладов С. Шварцбанда и проф. Е. Эткунда (Берлин, – также об одном из «Подражаний Корану») – непосредственно следует вывод, что стилистический опыт, вынесенный Пушкиным из обращения к «смелой поэзии» этих древнейших памятников человеческого духа, сыграл весомую роль в предпринятой им коренной реформе языка русской литературы, реформе, ведущей к полной лексической свободе и смелости выражения (ее смысл и проявления убедительно раскрыты в двух замечательных статьях проф. В. Д. Левина – о языке «Евгения Онегина» и «Медного всадника», – публикуемых в «Пушкинских сборниках» 1997 и 1999 гг.).

Укрепляется мысль и о закономерности упорной тяги к неподражаемой прямооте и реальности языка Библии у Герцена, который смелее многих продолжил речевую революцию Пушкина, претворив в своем «блестящем»¹⁸ стиле открытые ею возможности перехода от синтеза раскованных словесных сочетаний – к сталкиванию внутренне контрастных лексических элементов, приводившему подчас к поистине *взрывному* эффекту его саркастические инвективы против «отжив-

¹⁷ С. С. Аверинцев. Два слова о том, до чего же трудно переводить библейскую поэзию («Новый мир», 1998, № 1, с. 94). Молодой Герцен, не зная древнееврейского, тем не менее остро чувствовал и в переводах эту уникальную простоту и конкретность библейской речи, стремился к наиболее адекватному ее восприятию. Задумав весной 1839 г. поэму «Даниил в Вавилоне» и стремясь с помощью «Библии – неисчерпаемого источника» – войти в реальную атмосферу жизни «семитических народов», он в письме из Владимирской ссылки к Н. Х. Кетчеру в Москву от 15 марта – просит прислать «очень хороший перевод Библии», французский или немецкий, «из новых», сетуя, что «славянский язык темен местами», и не надеясь «на филологию Мартина Лютера» (Герцен, XXII, 15), т. е. на те тексты, которые были у него всегда под рукой. (Лишь позднее, в работе «О развитии революционных идей в России» 1851 г., он, рассматривая названные переводы в конкретном пространстве истории создавших их народов, отдаст должное «славянской Библии»: перевод Кирилла и Мефодия «по сжатости, мужественной красоте и точности равен Лютерову», VII, 185).

¹⁸ Это определение особенно часто в применении к стилю Герцена использовал Л. Н. Толстой, а подчас оно звучало так: «Я ни у кого <...> не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей». – См.: Н. Гусев. Герцен и Толстой («Лит. наследство», т. 40-41. М., 1941, с. 493, 506, 509, 510 и др.).

шего» в жизни. (Явно близким было и направление стилистических усилий Гейне.) Так, сама атмосфера напряженного научного поиска, развертывающегося «здесь и сейчас» – в раздумьях докладчиков, – активизирует и работу мысли слушателя, концентрируя его собственные наблюдения и ассоциации, уже не пушкинские, а где-то рядом расположенные в континууме литературного развития. И в соотношении с ними прочерчиваются пунктиром, – к примеру, в соображениях об общности и специфике интереса к «прямоте языка Библии» – возможные «узлы» последующих конкретно-исторических и компаративно-типологических изучений...

Методологическая целеустремленность к *конкретному историзму*, присущая всем докладам конференции, по-разному претворялась в каждом, сообразно избранной методике исследования. Так проф. Д. Сегал в «имманентном разборе» первого опыта гражданской сатиры Пушкина – «Лицинию» (1815), полного прямых актуальных аллюзий и общих исторических сентенций, убедительно выявил контрапункт его «семантической и звуковой поэтики» – мотив «зрения», «точки зрения», организующий, в конечном счете, композиционную, художественную целостность уже этого раннего и не вполне самостоятельного произведения.

Откровенно обращена на этот раз к общественным реалиям 1823 г. «герменевтическая» интерпретация проф. В. Паперным (Хайфа) стихотворения «Свободы сеятель пустынный...». В противоположность привычным трактовкам его как выражения общемировоззренческого кризиса, трагической растерянности поэта перед выявившимся фактом покорности «мирных народов»¹⁹, докладчик увидел в известных строках, соотносенных с другими творческими и эпистолярными документами тех дней, настроения радикализма, решительный спор с выводами евангельской притчи, выражение «крайнего атеизма и политического демонизма».

(А память слушателя вновь упорно подсказывает свои ассоциации, свои нюансы близкого историко-культурного фона, дальнейшей объективной жизни анализируемых образных сгустков. Ведь эти стихи были впервые опубликованы в «Полярной звезде» Герцена. И вместе с самой притчей о сеятеле они несли в себе для Герцена высокий символический смысл вершинного духовного диалога о трагизме и достоинстве беззаветного общественного служения исторического деятеля будущему народу. – И многократно в разных проявлениях этого смысла, внутренне полемических с пушкинским, выступали в произведениях публициста, претворяя евангельские

¹⁹ См., к примеру, написанный Ю. М. Лотманом раздел «Пушкин» в изд. «История всемирной литературы», т. VI. М., «Наука», 1989, с. 326.

образные детали в развернутые метафорические картины – подчас при самых ответственных итоговых обобщениях роли создателей Вольной прессы в истории России²⁰).

Но *пафос историзма* получил в широком майском полилоге и еще более общее воплощение. Чаще всего в сообщениях его участников *самим объектом рассмотрения* выступали разные стороны *исторического мировидения* Пушкина в их реальной связи и соотношении с библейской «мудростью тысячелетий». На Юбилейной конференции, в сущности, слились воедино две магистральные линии иерусалимских исследований – *Библия и история в пушкинском мире*, – взаимобогащая и освещающая одна другую (как это было и в самой реальной мыслительной деятельности зрелого художника). В этом отношении равно показательны доклады израильских ученых (например, *И. Сермана «История и стихия в «Медном всаднике»*), и гостей из С.-Петербурга (*Л. Лотман «Судьба царей и царств в Библии и трагизм истории в Борисе Годунове»*; *М. Виролоайнен «Библейская летописная модель истории в творческом сознании Пушкина»*), – и задавший этот философски-обобщающий тон конференции вступительный доклад *С. Бочарова* (Москва) о категории исторической закономерности в понимании Пушкина.

Наконец, постоянная *пульсация «ветхозаветного опыта»* человеческой культуры в пушкинском мире как *животворная традиция* для последующей русской словесности, – выдвигается в центр наблюдений и тех выступавших, область интересов которых – «инобытие» пушкинского «начала» у далеких творческих «наследников». Так сливаются воедино три исследовательских лейтмотива Юбилейного научного форума – к примеру, в докладах *Н. Рудник «Маленькие трагедии и Возмездие Блока»*; *Р. Тименчика* (Иерусалим) «Библия, Пушкин, Ахматова»; *Б. Аверина* (СПб.) «О сюжете воспоминания в Библии, у Пушкина, в литературе Серебряного века».

* * *

В этой связи вновь не могу утаить собственных раздумий, всё нараставших параллельно развитию и сочетанию основных сюжетных мотивов увлекательного научного дискурса. Сама его атмосфера, атмосфера требовательного поиска истины, побуждала к соразмышлению. Крепло ощущение, что в охвате далеких *полюсов* последующего развития русской литературы (вплоть до А. Белого, В. Набокова) под углом зрения пушкинских библейских проекций – выпадают пока из поля наблюдения некоторые важные ближайшие звенья. И за одно из

²⁰ См., например, «Письмо к Огареву» (*Герцен*, XX, 400); ср. также статьи «1857–1867», «Из письма к М. Бакунину» (XIX, 287–289) и др.

них, пожалуй, я в ответе... Это определенные стороны поэтического мира Герцена, не затронутые еще конкретным апализмом, но пропускающие особенно ясно в своей непосредственной связи с пушкинским миром – при свете библейских контактов последнего.

Некоторые из них уже невольно врывались в мое предшествующее изложение. А сейчас – ход конференции привел мысль к наиболее, думается, существенной из таких сторон. К магистральному для Герцена – и важному для Пушкина, многообразному в его творчестве – статусу *воспоминания*. Последний доклад побуждает вспомнить, какие ключевые в историческом или философском, этическом плане стихи его содержат уже в самом названии это слово – от торжественных «Воспоминаний в Царском селе» 1814 г. (к форме и названию которых – при трагически усложнившемся тоне, подчеркнутым сравнением с «отроком Библии», – поэт возвращается в незаконченном стихотворении 1829 г.) и до трепетно-интимного и мужественного «Воспоминания» 1828. Для обоих память художника, в конечном счете, – поэтический узел связи между судьбой личности и исторической жизнью страны, ключ к познанию ее не в «официальном», а в человеческом измерении²¹.

Но знаменательны и отличия этой широкой, эволюционировавшей в сознании обоих жанровой сферы. Сама же ее подвижность непосредственно связана с общим для них *динамизмом жизнеощущения*²². – И в то же время, с изменявшимся кардинально на протяжении творческого пути того и другого взглядом на историю в целом, с все более сложным осознанием оппозиции понятий: закономерность – и случайность; коллективная память об общих событиях (освященная в Библии волей Бога) – и трагическая «память сердца», требующая беспощадной к себе исповеди личности, а следовательно, – соотношение (или синтез?) лирического и эпического начал – при «отражении истории в человеке» («случайно попавшемся на ее доро-

²¹ См. «Былое и думы» (Герцен, X, 238); ср. пушкинскую «Заметку о “Графе Нулине”» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., изд. 4, т. VII, Л., 1978, с. 156).

²² О «специфическом принципе поэзии Пушкина – ее динамическом характере» – писал неоднократно Р. Якобсон, ссылаясь при этом на работу П. Биццлли 1926 г. «Поэзия Пушкина» (см., например, статью 1937 г. «Раскованный Пушкин». – Р. Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987, с. 172). Ср. также: Ю. Лотман. Указ. соч., с. 336. Что же касается Герцена, то известен его жизненный девиз: «Semper in motu» («Всегда в движении»). И уже в 1844 г., он писал, размышляя о многосторонности и объективности исторического взгляда Г. П. Грановского, что «всё живое чрезвычайно трудно уловимо», ибо «в нем скниелось бесчисленное множество элементов и сторон движущийся процесс». Образцом охвата в искусстве этого противоречивого движения жизни, истории был для Герцена, как и для Пушкина, Шекспир (Герцен, XXIV, 374; II, 125; I, 314).

ге)²³, – если вспомнить полностью окончательную формулу, которая была выработана для жанра «Былого и дум» автором в 1866 г., т. е. уже по завершении работы над большинством глав мемуаров).

Разумеется, для анализа этих сложных и движущихся соотношений необходимо специальное исследование. Здесь же представляется важным обозначить эту проблематику как непосредственно продолжающую нынешние пушкинские студии в Израиле. Важность же такого направления работы, призванного и далее расширять плацдарм для объективной конкретно-исторической трактовки творений поэта в реальном времени движения русской – и мировой – художественной культуры, подтверждается, к примеру, также иными событиями в пушкинские Юбилейного года. Так, в июньском номере «Нового мира» была напечатана статья Р. Гальцевой «Поэт и царь Давид» – как бы непосредственно включавшаяся в круг майских иерусалимских диалогов. Да и предмет анализа впрямую совпадает – это упомянутое «лирически-гениальное», как пишет автор, «Воспоминание» (1828) «заразительное изливание совестливого, раскаянного сознания»²⁴.

Р. Гальцева полемизирует с теми ортодоксально-православными критиками, которые находят в этих стихах «духовный дефект» – покаяние «в пустоту», ибо, в противоположность псалмопевцу Давиду, «всегда обращенному к Богу, поэт *сам* решает, смыть или не смыть ему “печальные строки” из памяти». Можно согласиться с автором статьи, резонно возражающим, что «в той мере, в которой псалмы царя Давида являются не только хвалебными гимнами, но и лирическими lamentациями, они выражают такое же состояние интимной тоски, как и пушкинские стихи». Какой же вывод следует из этого наблюдения? Быть может, то, что в библейской поэзии уже заложены зачатки личностных эмоций, те корни общечеловеческих чувств, этической требовательности в оценке собственных поступков, которые, углубляясь в перипетиях исторической жизни до самосознания суверенной личности, могли породить лирический шедевр пушкинской силы?

Отнюдь, нет. Цель критика в этом споре противоположна: доказать, что элементы «сходства в их покаянных настроениях» позволяют «отнести обоих к одному <религиозному типу>». А для этого следует убедить читателя, что, хотя в стихотворении «нет прямых обращений к Богу», поразительные строки: «И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклиная,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю»... –

23 Герцен, X, 9.

24 «Новый мир», 1999, № 6, с. 199.

«написаны в божественном присутствии». Посмотрим аргументы: «обильные слезы», лексемы *бденье*, *трепещу* «создают религиозно-храмовую обстановку<?>» «Сам *модус обращения*, содержащийся в стихе, подразумевает некий особый адресат. Кому поэт «горько жалуется»? «Трепещет» перед кем? Не перед собой или «равнодушной природой». Вот и «все признаки присутствия Высшего судии», «наличествующие», — как утверждает автор, в тексте. Думается, что они весьма малоубедительны и лишь сужают подлинно всеохватный поэтический смысл этого уникального психологического и художественного документа. Сколько ни вчитывайся в волнующие строки, в них не найти никакого иного «модуса обращения», кроме как обращение в «томительном» «бездействии ночном» внутрь собственной души, своей памяти («Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развевает свиток...»).

А вопросы по поводу приведенных критиком глаголов — разрешаются легко, ибо поставлены по недоразумению или просто не корректны. Оба глагола и в современном языке весьма многозначны, а в пушкинскую пору — и в его поэзии, в частности, — еще чаще употреблялись в значениях, передающих внутреннее состояние или обращенных не к другому, а к себе. К кому обращены «Дорожные жалобы» (1829)? И перед кем «сердце юноши трепещет» — или: «Душа <...> Трепещет и звучит...»²⁵? В настоящем случае речь идет также не о трепете *перед кем-то*, а о внутренней дрожи — от гнева на себя, недовольства собой, бесплодных уже жалоб на себя, вызывающих только горькие слезы и проклятья. (Почему-то глагол «проклинаю», стоящий в том же ряду, не вызвал у Р. Гальцевой идентичного вопроса — не потому ли, что не мог по своей однозначности быть приспособлен к выбранной ею трактовке? Жаль только, что он не помог интерпретатору прояснить для себя столь же не вызывающее сомнений в данном контексте значение двух других глаголов.)

Перед нами драма живой памяти поэта как беспощадный суд²⁶ над теми своими поступками и отношениями в прошлом, которые уже не исправить, — и горькая необходимость, решимость жить дальше

²⁵ Цитируется поэма «Цыганы» (1824) и стихотворение «Осень» (1833).

²⁶ О «трибунале» «внутри» скажет Герцен спустя 20 лет, в острейший момент духовной драмы поражения революции «казни» себя за реальное «бездействие» своего поколения после июньских расстрелов 1848 г. (*Герцен*, VI, 44, 108–109). Он же напишет о неоправимом статусе «несокрушимых событий памяти», когда на горестных страницах мемуаров будет тщательно воссоздавать и мучительно осознавать тяжкие для психологического состояния умершей жены промахи в своих действиях или диалогах с ней: «Прошедшее — не корректурный лист, а пож гильотины, после его падения многое не срывается, оно факт, с ним надобно *следить*, а не забыть его» (X, 274–275).

сэтой «печальной» и «жгучей», «давящей» и «кипящей» памятью. Удивительная, оставляющая впечатление синхронной по тонкости нюансировки «запись» всего противоречивого сгустка душевных переживаний, в иной одинокий ночной час охватывающих поэта. И этот интимнейший мир «тяжких дум» и чувств доверительно распахнут перед читателем, с простодушной уверенностью в общечеловеческом смысле такой откровенности. Она действительно несла в себе высокий очистительный потенциал катарсиса.

В статье Р. Гальцевой мы сталкиваемся, очевидно, с одним из случаев того «пережима» в «попытках» «развить» Пушкина, «т. е. говорить за него то, чего он как раз не сказал», от которых в эти же юбилейные дни предостерегал «интерпретаторов» С. Аверинцев, доводя: «И знал, что делал, так и не сказав»²⁷. Подтверждением служит при этом творческая история именно того же «Воспоминания», вторая половина которого, конкретизировавшая личные «печальные» эпизоды, была отброшена автором при публикации. Поэту важен был общий смысл *статуса памяти мужественного человека*, а не вспоминаемые конкретные промахи или обиды... Перед нами сознательный выбор художника, оставляющего за кадром эти исходные индивидуальные поводы – и сохраняющего лишь общезначимую эмоцию, сама мучительная неизбывность которой в нравственном сознании личности содержит элемент гармонизации, искупления.

Думается, что сопоставить эти строки (наряду с псалмами царя Давида), – также с прямо продолжающим пушкинский лирический «статус памяти» трагическим «Рассказом о семейной драме» в «Былом и думах», где суровая к себе память повествователя – воплощает неусыпное раскаяние перед собственной совестью, доверчиво открытое перед читателем-другом, но не обращенное к Богу, – было бы поучительно. Это могло бы помочь критику сохранить равновесие в подходе к лирическому откровению поэта и, вместо идеологизированного домысливания его (особенно противопоставленного для классически выверенного и лаконичного стиха Пушкина), указать не на сужающую смысл религиозную, а на гуманистически-общечеловеческую его глубину и перспективу.

В этой связи крайне неудачно и бегло-презрительное упоминание критиком «равнодушной природы». Стоит вернуть цитату в контекст стихотворения 1829 г. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», откуда она неосторожно извлечена (или для более широкого контекста взять еще «Вновь я посетил...», 1835), чтоб стало ясно, что пушкинский эпитет означает не пренебрежение или протест против равнодушия природы, а *приятие объективного движения жизни*, в ее вечном росте и кра-

²⁷ С. Аверинцев. Пушкин – другой... («Лит. газета», № 22 от 2 июня 1999 г., с. 1, 9).

соте, включающего деятельное участие в ней человека, – и реальную, живую *память* о нем в потомстве. Именно такое приятие жизни, вместе с сопровождающей его трагической памятью, достойно развивает Герцен. И сцену прощания умирающей жены с детьми «оглушенный горем» писатель аранжирует теми же заключительными строками из «Брожу ли я...» – о «равнодушной природе» («И пусть у гробового входа» и т. д.), – «вспоминаая», как она их «недавно повторяла»²⁸...

Итак, пушкиниана в Израиле – и в мире – продолжается, синтезируя проблематику общечеловеческих универсалий и конкретно-исторических традиций поэта. И Юбилейными научными акциями в Иерусалиме обозначился серьезный шаг к дальнейшему плодотворному, перспективному ее развитию.

* * *

Израильские ученые-слависты, преподаватели, писатели активно участвуют также в массовой популяризации творчества Пушкина. В древнем городе Яффо, слившемся с детищем XX века гигантом Тель-Авивом, одна из улиц в 1956 г. постановлением объединенного муниципалитета получила имя Пушкина, а в 1996 г. по инициативе Союза русскоязычных писателей Израиля на ней была торжественно открыта памятная доска, возвещавшая на иврите, русском и английском языках, что улица названа в честь «величайшего поэта России Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)».

Но не только в этом самом большом городе страны или ее столице Иерусалиме известно и почитаемо это имя. В маленьком приморском Ашкелоне стараниями секретаря Союза *Л. Финкеля* создан народный музей Пушкина. Здесь же ежегодно (с 1994 г.) проводятся Пушкинские вечера поэзии. И сюда приезжали с докладами участники Иерусалимской майской конференции. (Надо сказать, что вообще традицией израильских славистов стало во время международных научных конгрессов или симпозиумов устраивать выездные заседания в небольших отдаленных от столицы городах, и эти встречи с местной интеллигенцией в ее клубах, научных кружках, семинарах, помогающие ей избавиться от синдрома культурной «периферийности», проходили не раз за последние два-три года также в Нацерете, Реховоте, Бейт-Шемеше). Обширный круг участников и гостей из разных городов и из-за рубежа собрала посвященная Пушкину очередная, семьдесят шестая встреча в Иерусалимском клубе библиофилов (председатель – доктор *Леонид Юниверг*). К ней была приурочена экспозиция редких изданий поэта, некоторых новых книг-раритетов, посвященных Пушкину и иллюстрированных лучшими современными

²⁸ Герцен, X, 298.

графиками и экслибрисами Петербурга, Москвы, Харькова, частью новыми репатриантами или коллекционерами из Хайфы и Нью-Йорка.

Разумеется, особенно широкий характер приняли массовые Юбилейные события Пушкинского года на «русской улице» городов и поселков Израиля. В результате репатриации 90-х годов разряд израильских граждан, читающих по-русски, вырос до миллиона человек. И в подавляющей его части тяга к наследию Пушкина как личному духовному достоянию – очень велика. Поэтому неутомимая инициатива энтузиастов – организаторов лекций и вечеров, концертов и спектаклей, посвященных поэту, находила самую заинтересованную и активную аудиторию во всех уголках страны. И каждая из таких акций оперативно освещалась в многочисленных русскоязычных газетах, как общензраильских («Вести», «Новости недели», «Русский израильтянин», «Эхо», «Наша страна» и др.), так и региональных. В них на протяжении всего года печатались и просто разного рода материалы о творчестве поэта. И мне известны люди, с любовью коллекционирующие такие материалы. Одна из богатейших коллекций современной пушкинианы – причем из разных стран мира – собрана жителем г. Афулы, репатриантом, бывшим музейным работником, краеведом *Александром Цитроном*. Работает он теперь на заводе, но каждую свободную минуту посвящает Пушкину, своей коллекции, находками которой делится с российскими музеями, выступает со статьями о нем в местной прессе.

Очень большую и разнообразную просветительскую работу ведут в г. Хадере поселившиеся там проф. Даугавпилского педагогического университета (где заведовал кафедрой русской литературы) *Леонид Цилевич* и доктор филологии *Лия Левитан*. Оба читают лекции о Пушкине; Л. Цилевич подготовил сценарии и провел режиссуру нескольких литературно-музыкальных вечеров в культурных центрах русскоязычной интеллигенции, выступил ведущим в некоторых из них и т. п. В музее боевой славы борьбы с фашистами «Энергия мужества» была к дню Юбилея развернута специальная экспозиция. Шесть тематических Пушкинских встреч организовала в городке Ор-Акива преподаватель *Наталья Заславская*, выпускница Ленинградского пединститута им. Герцена, привлекая к участию и детей, и профессионалов-музыкантов, и танцевальные коллективы.

Надо сказать, что в части израильских школ по желанию учеников старшей ступени организованы классы с изучением русского языка и литературы. Ученики такой школы в поселке Бет-Элиэзер поставили целый синтетический спектакль, отражающий эпизоды жизни Пушкина – от детства до трагической гибели (участвовали в нем 38 школьников; автор сценария – их учительница *Виктория Бодик*; режиссер – *Елена Левицкая*). В каждом звучали стихи Пушкина, со-

провожаемые мизансценами, передающими их смысл, а подчас и бальными танцами. По отзыву проф. Цилевича, «вечер был Пушкинским» «и по духу, по атмосфере: стремительность и лаконизм, насыщенность смыслом каждой детали и изящество»²⁹. А школьники г. Нетании – ученики *Фаины Кобринной* – подготовили и показали на Пушкинском празднике инсценировку повести «Барышня-крестьянка».

Невозможно описать здесь всех такого рода акций, которые развернулись поистине во всей стране. Отмечу лишь характерную деталь. В г. Ришон-Леционе в Пушкинский год прошло также больше лекций и литературных вечеров, посвященных поэту, чем в предшествующие годы. Их вела или ими руководила чаще всего доктор филологии репатриантка из Киева *Татьяна Яцук*, умело развязывая также инициативу самодеятельных участников. На одном из таких вечеров – в клубе пенсионеров – пожилая любительница Пушкина прочла с истинным одушевлением «Письмо Татьяны к Онегину» – на иврите, вызвав особенно восторженные аплодисменты слушателей.

Думается, что этот эпизод Юбилейного года, – наряду с новым, ивритско-русским изданием «Онегина», – достойно и, пожалуй, символически, обрамляет картину многообразного пушкинского присутствия в культуре Израиля сегодня – и открывает дальнейшую гуманизирующую перспективу сближения культур в наступающем тысячелетии.

²⁹ Л. Цилевич. Светлый вечер (газета «Пульс», Хадера, 2 апреля 1999 г.).